

М. Е. Салтыков-Щедрин

Современная идиллия

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С16

С16 **Салтыков-Щедрин М.Е.**
Современная идиллия / М. Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию,
2012. – 298 с.

ISBN 978-5-4241-2865-3

Сатирический роман «Современная идиллия» – одна из вершин художественного творчества Салтыкова – вырос из рассказа под тем же названием, который писатель «вынужден был», по его словам, написать в «два вечера» – для заполнения бреши, сделанной цензурой в февральской книжке «Отечественных записок» за 1877 г.

ISBN 978-5-4241-2865-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ

Спите! Бог не спит за вас!

Жуковский

I

Однажды заходит ко мне Алексей Степаныч Молчалин и говорит:

— Нужно, голубчик, погодить!

Разумеется, я удивился. С тех самых пор, как я себя помню, я только и делаю, что гожу.

Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этим словом, и вот выискивается же человек, который приходит к заключению, что мне и за всем тем необходимо умерить свой пыл!

— Помилуйте, Алексей Степаныч! — изумился я. — Ведь это, право, уж начинает походить на мистификацию!

— Там мистификация или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет — погодить!

— Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?

— Русские вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, господа! Погодить — ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кой об чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь... Например: гуляйте больше, в еду ударьтесь, папироски набивайте, письма к родным пишите, а вечером — в табельку или в сибирку засядьте. Вот это и будет значить "погодить".

— Алексей Степаныч! батюшка! да почему же?

— Некогда, мой друг, объяснять — в департамент спешу! Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы — русские; мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил, а последуете ли моему совету или не последуете, это уж вы сами...

С этими словами Алексей Степаныч очень любезно сделал мне ручкой и исчез. Это быстрое появление и исчезновение очень больно укололи меня. Мне казалось, что в переводе на язык слов этот факт означает: я не должен был сюда прийти, но... пришел. Во всяком случае, я хоть тем умалю значение своего поступка, что пробуду в сем месте как можно менее времени.

Да, это так. Даже руки мне порядком на прощанье не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил: "Готов я помочь, однако пора бы к тебе, сахар медович, понять, что знакомство твое — не ахти благодетья какая!" Я, конечно, не буду верить, что он именно так думал, но что он инстинктивно как чувствовал и что именно это чувство сообщило его появлению ту печать торопливости, которая меня поразила, — в этом я нимало не сомневаюсь.

По обыкновению, я сейчас же полетел к Глумову. Я горел нетерпением сообщить об этом странном коллоквиуме, дабы общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, буде надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степаныча. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством... и набивал папироски.

— Ты что это делаешь? — спросил я.

— А вот, подходящее, по обстоятельствам, занятие изобрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал, теперь — папироски делаю.

— Представь себе, ко мне Алексей Степаныч заходил и то же самое советовал!

— А я так сам догадался. Садись, вот тебе гильзы — занимайся.

— Позволь, однако, надо же хоть объясниться сперва!

— А тебе что Алексей Степаныч сказал?

— Да ничего путем не сказал. Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо!

— Чудак ты! Сказано: погоди, ну, и годи, значит. Вот я себе сам, собственным движением, сказал: Глумов! нужно, брат, погодить! Купил табуку, гильзы — и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом "годить".

— Помилуй! да разве мы мало до сих пор годили? В чем же другом вся наша жизнь прошла, как не в непрерывном самопонуждении: погоди да погоди!

— Стало быть, до сих пор мы в одну меру годили, а теперь мера с гарнием пошла в ход — больше годить надо, а завтра, может быть, к мере и еще два гарница накинется — ну, и еще больше годить придется. Небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить! Давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести. Вместе и годить словно бы веселее будет.

Затем мы в несколько минут начертали план действий и с завтрашнего же дня приступили к выполнению его.

Прежде всего мы решили, что я с вечера же переберусь к Глумову, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать «годить». И не расстанемся до тех пор, покуда вакант сам собой, так сказать, измором не изноет.

Залегли мы спать часов с одиннадцати, точно завтра утром к ранней обедне собрались. Обыкновенно мы в это время только что словесную канитель затягивали и часов до двух ночи переходили от одного современного вопроса к другому, с одной стороны ничего не предрешая, а с другой стороны не отказывая себе и в достоодолжном, в пределах разумной умеренности, рассмотрении. И хотя наши собеседования почти всегда заканчивались словами: "необходимо погодить", но мы все-таки утешались хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно-разумного отношения к действительно-сти, что воля с нас не снята и что если бы, например, выпить при сем две-три рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так: "Господа! да неужто же, наконец..."

Но теперь мы с тем именно и собрались, чтобы начать годить, не рассуждая, не вдаваясь в исследования, почему и как, а просто-напросто плыть по течению до тех пор, пока Алексей Степаныч не снимет с нас клятвы и не скажет: теперь — валяй по всем по трем!

Мне не спалось, Глумов тоже ворочался с боку на бок. Но дисциплина уже сказывалась, и мысли приходили в голову именно все такие, какие должны приходиться людям, собравшимся к ранней обедне.

— Глумов! ты не спишь?

— Не сплю. А ты?

— И я не сплю.

— Гм... не зажечь ли свечу?

— Погоди, может быть, и уснем.

Прошло еще с полчаса — не спится, да и только. Зажгли свечу, спустили ноги с кровати и сели друг против друга. Глядели-глядели — наконец смешно стало.

— Постой-ка, я в буфет схожу; я там, на всякий случай, два куска ветчины припас! — сказал Глумов.

— Сходи, пожалуй!

Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Вот он в кабинет вошел, вот вступил в переднюю, вот поворотил в столовую... Чу! ключ повернулся в замке, тарелки стукнули... Идет назад!!

Когда человек решился годить, то все для него интересно; способность к наблюдению изошряется почти до ясновидения, а мысли — приходят во множестве.

— Вот ветчина, а вот водка. Закусим! — сказал Глумов.

— Гм... ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить — спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь об том, как эта самая ветчина ветчиной делается?

— Была прежде свинья, потом ее зарезали, рассортировали, окорока посолили, повесили — вот и ветчина сделалась.

— Нет, не это! А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхоллил, выкормил? И почему он с нею расстался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи едим...

— И празднословием занимаемся... Будет! Сказано тебе, погодить — ну, и жди!

— Глумов! я — немножко!

— Ни слова, ни полслова — вот тебе и сказ. Доедай и ложись! А чтобы воображение осадить — вот тебе водка.

Выпили по две рюмки — и действительно как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось, теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс, особенно если при этом имеется в виду практический результат. А так как в настоящем случае ожидаемый результат заключался в слове «загнуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя и устраняя все, что могло нанести ему ущерб. Старался не переменять положения тела, всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск мысли, по преимуществу, ни с чем несообразный, даже целые сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду (это завлекло бы меня, пожалуй, за пределы моих скромных намерений), но, признаюсь откровенно, все они имели в своем основании слово "погодить".

Наконец, уже почти совсем сонный, я вымолвил:

— Да, брат! а насчет ветчины — все-таки... Это, брат, в своем роде — сюжет!

— Сюжет! — тоже сквозь сон ответил мне Глумов, и затем голова моя окончательно окунулась в облако.

Проснулись мы довольно рано (часов в девять), но к ранней обедне все-таки не успели.

— Впрочем, и то сказать, — начал я, — не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обеды справлять.

— Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит, — осадил меня Глумов, — но не об том речь, а вот я насчет горячего распоряджусь. Тебе чего: кофею или чаю?

Я задумался. Обыкновенно я пью чай, но нынче все так было необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Дай-ко, думаю, кофейку хвачу!

— Кофею, братец! — воскликнул я и даже хлопнул себя по ляжке от удовольствия.

Подали кофей. Налили по стакану — выпили; по другому налили — и опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.

— Калач-то от Филиппова? — спросил я.

— Да, от Филиппова,

— Говорят, у него в пекарне тараканов много...

— Мало ли что говорят! Вкусно — ну, и будет с тебя! Глумов высказал это несколько угрюмо, как будто предчувствуя, что у меня язык начинает зудеть.

— А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...

— Что "калач"?

— Ну вот родословную-то его... Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит, у кого лежит, как этот человек за сохой идет, напирая на нее всею грудью, как...

— Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофей с калачом пьем, да и тебе только это знать советую!

— Глумов! да ведь я немножко! Ведь если мы немножко и поговорим — право, вреда особенного от этого не будет. Только время скорее пройдет!

— И это знаю. Да не об том мы думать должны. Подвиг мы на себя приняли — ну, и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофей, да идем гулять! Вспомни, какую нам палестину выходить предстоит!

В одиннадцать часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.

— Вот, брат, и суд наш праведный! — сказал я.

— Да, брат, суд! — вздохнул в ответ Глумов.

— А коли по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...

— Да обуздай наконец язычище свой! Ну, суд — ну, и прекрасно! И будет с тебя! Архитектура вот... разбирай ее на здоровье! Здание прочное — внутри двор... Чего лучше!

— Да, мой друг, удивительно, как это нынче... Говорят, даже буфет в суде есть?

— Есть и буфет.

— А ты не знаешь, чем этот буфет славится?

— Водки рюмку выпить можно — какой еще славы нужно!

Котлетки подают, бифштекс — в звании ответчика даже очень прилично!

— Удивительно! просто удивительно! И правосудие получить, и водки напиться — все можно!

— Только болтать лишнее нельзя! Идем на Фурштадтскую. Пошли по Фурштадтской; дошли до овсянниковского дома.

— Вот какой столб был! До неба рукой доставал — и вдруг рухнул! — воскликнул я в умилении, — я, впрочем, думаю, что провидение не без умысла от времени до времени такие зрелища допускает!

— Для чего провидение допускает такие зрелища — это, брат, не нашего ума дело; а вот что Овсянников подвергся каре закона — это верно. Это я в газетах читал и потому могу говорить свободно!

— Да, но отчего же и о путях провидения не припомнить при этом?

— Оттого, что пути эти нам неизвестны, — вот отчего. А что нам не известно — к тому мы должны относиться сдержанно. Шагай, братец.

В конце Фурштадтской — питейное заведение. Выходит оттуда мужчина в изорванном пальто, с изорванной физиономией и, пошатываясь, горланит:

Красавица! Подожди!

Белы руки подожди!

— Вот и он советует подождать! — говорю я.

— Да, потому что всем такая линия вышла!

— А бедный он!

— Кто? пьяница-то?

— Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтоб накопело у человека в груди...

Но Глумов и тут оборвал меня, запев:

— Красавица! Подожди!

Белы руки подожди!

— Не для того я напоминаю тебе об этом, — продолжал он, — чтоб ты именно в эту минуту молчал, а для того, что если ты теперь сдерживать себя не будешь, той в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна, воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что оттого вся эта неопрятность и происходит, что мы на каждом шагу послабления себе делаем. Прямо, на улице, пожалуй, не посмеем высказаться, а чуть зашли за угол — и распустили язык. Понятно, что начальство за это претендует на нас. А ты так умей собой овладеть, что, ежели сказано тебе "погоди!", так ты годи везде, на всяком месте, да от всего сердца, да со всею готовностью — вот как! даже когда один с самим собой находишься — и тогда годи! Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная выдержка!

Я должен был согласиться с Глумовым. Действительно, русский человек как-то туго поддается выдержке и почти совсем не может устроить, чтобы на всяком месте и во всякое время вести себя с одинаковым самообладанием. Есть у него в этом смысле два очень серьезных врага: воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох, а потому сию минуту он увядает, а в следующую — расцветает, сию минуту рассыпается в выражениях преданности и любви, а в следующую — клянет или загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются. Но, во всяком случае, он не умеет сдерживать свою мысль и речь в известных границах, но непременно впадает в расплывчивость и прибегает к околичностям. Прочтите любой судебный процесс, и вы без труда убедитесь в этом. Ни один свидетель на вопрос: где вы в таком-то часу были? — не ответит просто: был там-то, но непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, которых фамилии попадутся ему на язык, потом об себе отзовется, что он человек несчастный, и, наконец, уже на повторительный вопрос: где вы были? — решится ответить: был там-то, но непременно присовокупит: виделся вот с тем-то, да еще с тем-то, и сговари-

вались мы сделать то-то. Одним словом, самого ничтожного повода достаточно, чтоб насторожить воображение и чтобы последнее немедленно нарисовало целую картину.

Ввиду всех этих соображений, я решился сдерживать себя. Молча мы повернули вдоль линии Таврического сада, затем направо по набережной и остановились против Таврического дворца. Естественно, умилились. Тени Екатерины, Потемкина, Державина так живо пронеслись передо мною, что мне показалось, что я чувствую их дуновение.

— Вот где витает тень великолепного князя Тавриды! — воскликнул я.

— Да, брат, вот тут, в этом самом месте, он и жил! — отозвался Глумов.

— И что от него осталось? Чем разрешилось облако блеска, славы и власти, которое окружало его? — Несколькими десятками анекдотов в "Русской старине", из коих в одну главную роль играет севрюжина! Вон там был сожжен знаменитый фейерверк, вот тут с этой террасы глядела на празднество залитая в золото толпа царедворцев, а вдали неслыханные массы голосов и инструментов гремели "Коль славен" под гром пушек! Где все это?

Я расчувствовался, встал в позу и продекламировал;

— Где стол был яств — там гроб стоит,

Где пришеств раздавались клики,

Надгробные там воют лики,

И бледна смерть на всех глядит.

Глядит на всех...

Дальше не помню, но не правда ли, удивительно!

— Удивительно-то удивительно, только это из оды на смерть Мещерского, и к Потемкину, следовательно, не относится, — расколодил меня Глумов.

— Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторить приятно! Екатерина! Державин! Имена-то какие, мой друг! часто ли встретишь ты в истории такие сочетания!

— Орловы! Потемкин! Румянцев! Суворов! — словно эхо, вторил мне Глумов и, став в позицию, продекламировал;

Вихрь полуночный летит богатырь!

Тень от чела, с посвиста — пыль!

— А потом Дмитриев-Мамонов и наконец Зубов... И каждому-то умел старик Державин комплимент сказать!

Под наплывом этих отрядных чувств начали мы припоминать стихи Державина, но, к удивлению, ничего не припомнили, кроме:

Запасиися крестьянин хлебом,

Ест добры щи и пиво пьет!¹

— Да, брат, был такой крестьянин! был! — воскликнул я, подавленный нарисованною Державиным картиной.

Как ни сдержан был Глумов, но на этот раз и он счел неуместным охлаждать мой восторг.

— Да, брат, был, — сказал он почти сочувственно.

— Было! все было! — продолжал я восклицать в восхищении, — и "добры щи" были! представь себе: "добры щи"!

— Представляю, но все-таки не могу не сказать: восхищаться ты можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для

превратных толкований в смысле укора настоящему!

И с этим замечанием я должен был согласиться. Да, и восторги нужно соразмерять, то есть ни в каком случае не сосредоточивать их на одной какой-нибудь точке, но распределять на возможно большее количество точек. Нужды нет, что, вследствие этого распределения, восторг делается более умеренным, но зато он все точки равно осветит и от каждой получит дань похвалы и поощрения. Поэты старого доброго времени очень тонко это понимали и потому, ни на ком исключительно не останавливаясь и никого не обижая, всем подносили посильные комплименты.

Мы повернули назад, прихватили Песков, и когда поравнялись с одним одноэтажным деревянным домиком, то я сказал:

— Вот в этом самом доме цензор Красовский родился!

— Врешь?

Я соврал действительно; но так как срок, в течение которого мне предстояло «годить», не был определен, то надо же было как-нибудь время проводить! Поэтому я не только не сознался, но и продолжал стоять на своем.

— Верно, что тут! — упорствовал я, — мне Тряпичкин сказывал. Он, брат, нынче фельетоны-то бросил, за исторические исследования принялся! Уваровскую премию надеется получить! Тут родился! тут!

Постояли, полюбовались, вспомнили, как у покойного всю жизнь живот болел, наконец, — махнули рукой и пошли по Лиговке. Долго ничего замечательного не было, но вдруг мои глаза ухитрились отыскать знакомый дом.

— Вот в этом самом доме собрания библиографов бывают, — сказал я.

— Когда?

— Собираются они по ночам и в величайшем секрете: бояться, чтоб полиция не накрыла.

— Их-то?

— Да, брат, и их! — Вообще человечество все...

— Ты бывал на этих собраниях?

— Был однажды. При мне "Черную шаль" Пушкина библиографической разработке подвергали. Они, брат, ее в двух томах с комментариями хотят издавать.

— Вот бы где "годить"-то хорошо! Туда бы забраться, да там все время и переждать!

— Да, хорошо бы. При мне в течение трех часов только два первые стиха обработали. Вот видишь, обыкновенно мы так читаем:

Гляжу я безмолвно на черную шаль,

И хладную душу терзает печаль...

А у Оленина (1831 г. in 8-vo) последний стих так напечатан;

И гладкую душу дерзает печаль...

Вот они и остановились в недоумении. Три партии образовались.

— Ужинать-то, по крайней мере, дали ли?

— Нет, ужина не было, а под конец заседания хозяин сказал: я, господа, редкость приобрел! единственный экземпляр гоголевского портрета, на котором автор "Мертвых душ" изображен с бородавкой на носу!

— Ну, и что ж?

— Натурально, все всполошились. Принес, все бросились смотреть: действи-

тельно, сидит Гоголь, и на самом кончике носа у него бородавка. Начался спор: в какую эпоху жизни портрет снят? Положили: справиться, нет ли указаний в бумагах покойного академика Погодина. Потом стали к хозяину приставать: сколько за портрет заплатил? Тот говорит: угадайте! Потом, в виде литии, прочли "полный и достоверный список сочинений Григория Данилевского" — и разошлись.

— Вот, друг, этак-то бы дожить!

— Да, хорошо! однако, брат, и они... на замечании тоже! Как расходились мы, так я заметил: нет-нет да и стоит, на всякий случай, городской! И такие пошли тут у них свистки, что я, грешный человек, подумал: а что, ежели "Черная шаль" тут только предлог один!

Разговаривая таким образом, мы незаметно дошли до Невского, причем я не преминул обратиться всем корпусом к дебаркадеру Николаевской железной дороги и произнес:

— А вот это- результат пытливости девятнадцатого века! Затем, дойдя до Надеждинской улицы, я сказал:

— Эта улица прежде Шестилавочною называлась и шла от Кирочной только до Итальянской, а теперь до Невского ее продолжили. И это тоже результат пытливости девятнадцатого века!

А дойдя до булочной Филиппова, я вспомнил, какие я давеча мысли по поводу филипповских калачей высказывал, и даже засмеялся: как можно было такую гражданскую незрелость выказать!

— А помнишь, какой мы давеча разговор по случаю филипповских калачей вели? — обратился я к Глумову.

— Не я вел, а ты.

— Ну, да, я. Но как все это было юно! незрело! Какое мне дело до того, кто муку производит, как производит и пр.! Я ем калачи — и больше ничего! мне кажется, теперь — хоть озолоти меня, я в другой раз этакой глупости не скажу!

— И прекрасно сделаешь. "Вот как каждый-то день верст по пятнадцати — двадцати обломаем, так дней через десять и совсем замолчим!"

— Но когда мы дошли до площади Александрийского театра, то душевный наш уровень опять поднялся. Вновь вспомнили старика Державина:

Богopodobная царевна
Киргиз-кайсацкия орды,
Которой мудрость несравненна...

— А вот и сам он тут! — воскликнул я, указывая на пьедестал.

— А вот храм Талии и Мельпомены! — отозвался Глумов, указывая на Александрийский театр.

— А рядом с ним храм Момусу!

— А напротив — отель Бель-вю!

Нам было так радостно, что все это так хорошо съютилось, что мы, дабы не отравлять счастливого душевного настроения, решились отвратить наши взоры от бывшего помещения конторы Баймакова, так как это зрелище должно было несомненно свергнуть нас в меланхолию.

Проходя мимо Публичной библиотеки, я собрался было остановиться и сказать несколько прочувствованных слов насчет нелепости наук, но Глумов так угрюмо взглянул на меня, что я невольно ускорил шаг и успел высказать